

Ашкеров А. Ю.

Метаистория метаистории, или Декодирование Хейдена Уайта

Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. – 527 с.

Книга известного американского ученого, специалиста в области истории сознания Хейдена Уайта «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века» вышла в свет на Западе еще в 1973 г. У нас она стала достоянием читательской аудитории лишь в 2002¹. Сам Уайт в предисловии к русскому изданию называет период, в который рождалась «Метаистория», *структуралистским*, и констатирует, что сейчас, спустя почти 30 лет, написал бы свою книгу иначе.

Актуальное/не актуальное?

Возможные различия между изданной в 1973 г. книгой и нынешним представлением ее автора о проекте метаистории определяют дистанцию – в равной степени интеллектуальную и историческую – которая пролегает между нашим временем и той, не столь уж недавней, эпохой. «Эпоха структурализма», – а структурализм действительно был эпохой (не исключено, последней) – может считаться завершившейся лишь в той мере, в какой данное течение окончательно утратило концептуальную и институциональную целостность. В этом смысле выход в свет «Метаистории» на русском языке выглядит чрезмерно запоздалым событием, пережившим собственную актуальность и требующим не столько вдумчивого комментария, сколько прочувствованного некролога.

Однако закат структурализма – это не преодоление некоего отчетливого рубежа. Явление, которое в самом широком смысле слова может быть определено как «постструктурализм», упразднило эпохальность мышления и вместе с тем обозначило пролонгированную невозможность наступления какой-либо «новой эпохи». (Особая «постструктуралистская» диалектика как раз и заключается в подобном понимании упразднения, – не как одномоментной процедуры, отражающей суть самой исторической изменчивости, а как пролонгации, лишаящей изменения истории, а историю – изменений.) Парадоксальность противопоставления «эпохальности» (обратившейся в *retro-style*) и времени (берущего начало ныне лишь из без-времени), напротив, может сделать издание книги Уайта в России более важным событием, нежели публикация первоисточника. Причина проста, но также не лишена

* © Ашкеров Андрей Юрьевич, 2002 г.

© Центр Фундаментальной Социологии, 2002 г.

¹ Отечественному читателю Уайт был известен в основном по переводу его рецензии на книгу Мишеля Фуко «Слова и вещи». Рецензия имела симптоматичное название, перекликающееся с названием данной работы): «Декодированный Фуко: заметки из подполья» [1].

парадоксальности: на примере судьбы данной книги можно прояснить видоизменение статуса интеллектуальной истории, выходящей за пределы эпохальных идей и учений. Такого рода «обновление» отмечено особой радикальностью: оно не просто актуально, но призвано определить характер актуальности, обращая нас к вопросу о том, что являет собой историческое становление.

По отношению к «мета»-историографическому проекту необходима артикуляция особой историографии исторических поэтик, своеобразной метаистории метаисториков, показывающей степень зависимости определенных форм познавательной деятельности историка от столь же определенных метаисторических конструкций. Подобная метаистория метаистории не простое удвоение, ведущее к бесконечной регрессии, но попытка обнаружить Иное метаистории в сопоставлении, а точнее, в столкновении *различных* модусов неустранимой тропологизации исторического познания или, другими словами, различных исторических «риторик». Это переводит вопрос об исторической тропологии из режима обсуждения ее априорности в режим выявления сопряженного с ней стратегического выбора.

Неизбежная двойственность в интерпретации значения книги Уайта оборачивается, как видно из вышесказанного, более сложными вопросами, касающимися возможностей интерпретации не только ее концептуальных положений, но и уайтовского подхода к концептуализации. В то же время эти вопросы относятся к прояснению перспектив развития, интерпретации и усвоения метаистории (вовсе не просто как детища англосаксонского структурализма) в самой истории, прежде всего в истории мысли.

Современная форма актуальности с самого начала была устроена так, чтобы не вызывать у нас каких бы то ни было подозрений: наше современное, вечно подозревающее, «мы» целиком полагается в *актуальном*, которое возвещается, во-первых, как морально-эстетический императив, а, во-вторых, – как условие существования. Можем ли мы подтвердить актуальность Уайта, не уяснив, насколько его концепция предполагает забвение актуальности как проблемы, то есть заключает в себе пренебрежение к вопросу об историческом становлении? Можем ли мы подтвердить его неактуальность, если сейчас актуально само забвение, если, более того, именно забвение, адресованное в первую очередь к актуальности становления, и полагается в нашем «сейчас» как выражение самой Современности?

Лингвистический поворот в историческом познании

Конечно, именно структурализм сделал возможной ситуацию, когда становление явилось не-актуальным, а актуальное – не-становящимся («постструктурализм» лишь избавил данную ситуацию – равно как и соответствующую постановку вопроса – от «эпохальности»). Более того, структурализм и был олицетворением этой актуальности не-становления в современной мысли, последним образцом не-становящейся актуальности чистого рационализма целей.

«...натурализация целесообразности, – писал о структуралистской мысли один из наиболее проницательных ее критиков П. Бурдьё, – предполагающая забывание исторического действия и – при помощи понятия бессознательного – приводящая к введению исторических целей в тайны Природы, придала структурной антропологии вид самой естественной из всех общественных наук и самой научной из всех метафизик природы» [2, с.79].

Эпохальность структурализма была связана с особым отношением к времени, с трудом различимом в последовательности синхроний, затерянном в калейдоскопически меняющихся репрезентациях структур. Особенностью структуралистской мысли является то, что повествовательная интрига данного теоретического направления

приравнивается к формированию его как «объяснительной модели», история становления которой сводится лишь к тому, чтобы продемонстрировать собственное совпадение с репрезентирующими себя структурами. При этом если Ф. де Соссюр говорит о структурных качествах языка, увязывая их с его существованием в качестве социальной институции², то К. Леви-Строс, напротив, соединяет структурные качества (определенных) социальных отношений с основой своей организации – неким всеобщим символическим кодом, выступающим достоянием нашего бессознательного.

«Эпоха» в мысли меряется господством определенной картины мира, дарующей возможность особого (но неизменно претендующего на непосредственность) обращения к универсальному, к выражению универсалий в их неистощимой подлинности. Структуралистская картина мира стала одним из наиболее ярких свидетельств «лингвистического поворота» в гуманитарном знании, поставившего под вопрос прерогативы традиционной метафизики субъекта, воспринимающегося как творческое и творящее «начало». Символическое измерение человеческого существования было выведено за пределы порождающих способностей нашего сознания и (будучи помещенным на уровень человеческой телесности) рассмотрено в качестве системы, взаимно опосредующей идеи и факты (а также дающей возможность интерпретировать последние как знаки). «Лингвистический поворот» привел и к особой онтологизации языковых феноменов: в частности, именно миф (понятый как особая семиотическая структура) в рамках структурализма стал восприниматься в качестве инстанции исторического времени³.

Остановимся вначале подробнее на основополагающем структуралистском понимании мифа. Клод Леви-Строс определяет его как третью временную систему, отличную и от порядка синхронии и от порядка диахронии, более того, интегрирующую свойства обоих порядков. При этом миф «всегда относится к событиям прошлого: «до сотворения мира», или «в начале времен» – во всяком случае «давным-давно» ... значение мифа состоит в том, что эти события, имевшие место в определенный момент времени, существуют вне времени» [4, с. 186]. *Историческое время в понимании структурализма организуется как вневременной рассказ о прошлом, вместе с тем само прошлое становится рассказом о вневременности.*

История, понятая как текст (с рассмотрением которой связано историческое повествование самого структурализма), является историей, непосредственно конституированной в сопряженности с мифом, в буквальном смысле «мифологической» историей. Именно в рассказываемой истории, а не в стиле, в форме или синтаксисе, Леви-Строс видит «сущность» мифов. Сравнивая миф с языком, он исходит из того, что миф работает на том «самом высоком уровне, на котором смыслу удается ... отделиться от языковой основы, на которой он сложился» [4, с.187].

Сам структурализм изначально возникает как проект, нацеленный на осуществление собственного понимания истории. Иными словами, он рождается как интрига, стремясь развернуться как заранее готовое и в этом смысле а[на]хроническое повествование. Суть структуралистской интриги в том, чтобы предъявить не-становящуюся актуальность, именованной которой и выступает структура (структуры). *Именно так и возникает кредо структуралистского отношения к истории:*

² А. Мейе одним из первых подмечает близость понимания языка у Ф. де Соссюра с пониманием социального факта у Э. Дюркгейма. Дюркгейм исходит из того, что социальные факты являются внешними по отношению к индивидам. Соссюр то же самое утверждает по поводу языка, говоря, что последний – это социальная часть речевых практик, находящаяся «по ту сторону» индивидуального существования людей. (См. об этом подробнее в [3, с.158–166].

³ В постструктурализме такая инстанция оказалась утраченной, породив письмо, – починающее, по выражению Ж. Деррида, мысль резцом, – в качестве инстанции (вне?) историчности собственной утраты.

исторический процесс закрепощается в мифе. Нарушается сохранявшийся в течение многих столетий запрет Аристотеля на рассмотрение исторической событийности, *historia*, в качестве достояния *mithos*'а⁴. Повествование об истории неразрывно связывается отныне с развитием самой истории⁵. Теперь остается только сделать данную постановку вопроса достоянием исторической науки. Как нам представляется, Уайт вовсе не был первым, кто предпринял соответствующие усилия. Однако он явился первым профессиональным историком, сумевшим сделать эти усилия своим методологическим выбором. Подобный выбор был бы немислим без того влияния, которое оказали на формирование «метаисторического» подхода Ролана Барта и Мишеля Фуко.

Деятельность Барта – одного из непосредственных предшественников Уайта – воплощает собой своего рода лингвистический поворот в области истории культуры. Барт рассматривает культурные явления в контексте описания систем вторичных значений (коннотаций), образующих область того, что автор концепции «смерти автора» называет идеологией. Любая история, по мысли этого французского философа, может быть только историей культуры, и существование любого исторического факта может быть только «лингвистическим существованием». Исторический дискурс непосредственно участвует в создании и поддержании так называемого эффекта реальности. Иными словами, данный дискурс непосредственно вовлечен в утверждение идеологической иллюзии возможности обнаружения реального мира, наличествующего в разнообразных референтах, с которыми якобы тождественны означаемые. Применительно к истории в роли таких референтов оказываются ряды событий. Именно к таким событиям, – истолкованным как факты, говорящие сами за себя, – и призваны отсылать самым прямолинейным образом коннотации, которые задействуются историческими повествованиями. В логике раннего Барта современная идеология натурализует (и в этом смысле репрессирует) историю, выдавая произведения «буржуазной» культуры за компоненты естественно возникшего «порядка вещей»⁶. Однако именно исторический процесс, если рассуждать в логике позднего Барта, является, с одной стороны, исходной предпосылкой, а с другой –

⁴ Мы не можем согласиться с Полем Рикером в признании того, что среди всех структуралистов именно Уайту принадлежит особая прерогатива в обосновании этого вызова Аристотелю. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что Уайт был одним из первых (если не самым первым) профессиональных историографов, кто вплотную подошел к пониманию невозможности сколько-нибудь полного и последовательного обособления вопросов, относящихся к исследованию *historia*, от вопросов, касающихся описательной аналитики *mithos*'а [5].

⁵ «Чтобы оценить поступок, нарушающий аристотелевский запрет, – пишет П. Рикер, – нужно правильно понять мотивы этого запрета. Аристотель не ограничивается констатацией того, что история слишком «эпизодична», чтобы удовлетворять требованиям «Поэтики» (в конце концов, это суждение без труда можно оспорить со времен творчества Фукидида). Он также говорит, почему история эпизодична: он изучает то, что действительно произошло, реальное же в отличие от возможного, сочиняемого поэтом и иллюстрируемого *perereteia*, содержит в себе случайность, над которой поэт не властен. В конечном счете, именно потому, что поэт является автором своей интриги, он может оторваться от случайной реальности и возвыситься до правдоподобной возможности. Перемещение истории в сферу поэтики акт не безобидный и должен иметь последствия, связанные с трактовкой реальной случайности» [5, с. 313].

⁶ В частности, в теоретическом комментарии к своим «Мифологиям» Р. Барта делает по этому поводу весьма показательные заявления: «...буржуазия трансформирует реальный мир в его образ, Историю в Природу ... Статус буржуазии совершенно конкретен, историчен; тем не менее она создает образ универсального, вечного человека; буржуазия как класс добилась господства, основываясь на достижениях научно-технического прогресса; буржуазная же идеология восстанавливает природу в ее первозданности...» [6, с. 110].

финальной целью самоутверждения множащихся идеологических форм. Исторический процесс, таким образом, образует начальное и одновременно конечное звено в цепи коннотаций.

Второй непосредственный предшественник Уайта – М Фуко. Его творчество также олицетворяет собой лингвистический поворот, однако не столько в области собственно истории культуры, сколько в истории мысли, социальных установлений и дискурсивных практик. Если бартовский анализ культурных явлений предполагает смешение, своеобразную амальгаму Символического и Воображаемого (причем первое нередко как бы растворяется в последнем), то Фуко делает ставку на сепарацию Воображаемого и Символического, рассматривая последнее как совокупность порождающих механизмов, которые организуют исторические формации нашей мыслительной деятельности – эпистемы. У Барта культура исторична (и следовательно, вообще допускает постановку вопроса об историческом) лишь в той степени и форме, в какой история представляет собой культурное повествование (своеобразный текст или, точнее, метатекст культуры). У Фуко историческое не становится ни объектом злонамеренных репрессий со стороны идеологии, ни вместилищем иллюзий по поводу грядущего освобождения от идеологических пут (набрасывающих на наше мировосприятие пелену ложной реальности). Скорее, Фуко говорит об историческом как о том, что определяет мысль в ее становлении и может стать предметом высказывания. Однако из этого следует, что к историческому относится лишь мыслимое и высказываемое, то есть историческая проблематика полностью исчерпывается историей дискурсивных образований и мыслительных конфигураций. Все Немыслимое и Недискурсивное, конечно, тоже может стать достоянием исторического рассмотрения, но в качестве эффектов, которые порождаются в рамках главенства определенных формаций дискурсов и способов организации мыслительной деятельности⁷.

Барту, как нам кажется, Уайт обязан пониманием необходимости применения «риторического» анализа повествовательных текстов на основе выявления сплетающихся друг с другом кодов, соседствующих фигур, преобладающих тропов и т. д. Языковые структуры предстают в этом случае как инстанции, способные снабдить любое повествование процедурами утверждения истинного и сопряженными с ними иллюзиями достоверности. (И то, и другое, как блестяще прочувствовал американский историограф, совершенно необходимы именно для «научных» рассказов об историческом прошлом.)

⁷ Некоторые авторы, слишком поспешно признав подобную постановку вопроса, торопятся обвинять М. Фуко в склонности подменить исторический анализ производством симулякров, само существование которых бросает вызов незыблемому статусу очевидности, являемой «фактами истории». Нет особой необходимости говорить о том, что подобная постановка вопроса могла возникнуть лишь при условии наличия тайного (но от того еще более удивительного) доверия к заветам *наивного реализма*. Вот один из примеров, иллюстрирующих подобный подход “Повсюду мы сталкиваемся с тем, что Фуко называет «описанием» или разворачиванием целостных и замкнутых образов (литературно-поэтических, фольклорных, живописных) в последовательность дискурсивных (вербальных) значений, т. е. записи на языке, в сущности, чуждом им и отвергающем их право на собственную речь. Довольно странное предприятие, чем-то похожее на труд мастера симуляции ... Процесс копирования. Копирует язык, и копируется не ч т о, а к а к образа, т. е. к а к тот или иной образ сделан? Копия получает более высшую ценность, чем так называемый *оригинал*, последний берется не в «чувственно-содержательной» (переживание), а, напротив, в обезличенной и идеальной форме. Однако парадокс в том, что «объективному описанию» придается значение неизмеримо большее, чем *очевидности* видимого или рассказываемого [...] Копирование позволяет открывать скрываемое, но за счет массивного разрушения образца. Копия, которая копирует все связи и отношения внутри образца, разрушает последний, ибо пытается перевести его в иную ему реальность» [7, с. 136].

Фуко, на наш взгляд, повлиял на формирование у Уайта интереса к описанию повествовательного «стиля» того или иного историка, выявление которого неразрывно связано с исследованием так называемых вербальных моделей исторического процесса. Эти модели образуют то, что Уайт называет «доконцептуальным языковым протоколом», иначе говоря, совокупность предпосылок и условий изучения исторического материала, неразрывно связанных с избранной историком формой обращения с языком. Она, эта форма, содержит в себе набор возможных инструментов для конституирования поля исторического исследования, компонентами которого становятся как определенные (определяемые) объекты и типы отношений между ними, так и сконструированные (конструируемые) понятия, востребуемые для их «описания».

Уайт versus Леви-Строс

Первый и наиболее решительный шаг в плане видоизменения взгляда на историческую науку делает все же именно Леви-Строс. Он настаивает на том, что сама постановка вопроса о непрерывности как основополагающей характеристике темпоральных феноменов немыслима, если не принять во внимание символическое выделение событий, которые, будучи объединенными узами взаимной сопряженности, оказываются ни чем иным, как элементами некоего специфического кода. Как пишет Леви-Строс: «...можно говорить об антиномии исторического знания: если оно стремится достичь непрерывного, то оно невозможно, поскольку обречено на нескончаемую регрессию; чтобы сделать его возможным, требуется квантифицировать события, и тогда темпоральность как привилегированное измерение исторического знания исчезнет... [8, с. 138]. Установление событийных рядов или, иначе говоря, составление хронологии и есть, по мысли Леви-Строса, разновидность кодирования.

Соблазненный мнимой легкостью противопоставления внутреннего и внешнего, Леви-Строс заключает, что тайна любого события (рождающая особый пиетет исследователя перед ее непостижимостью) должна брать свое начало в трансцендентном. Принадлежа плану трансцендентного, любая событийность являет себя лишь *post factum* и исключительно в форме мифа (этого единственного – дискурсивного – пристанища трансцендентности). Отдалиться от какого-то события во времени – то же самое, что мысленно представить себе это отдаление, однако последнее будет предполагаться включением в иную, новую, событийность: интериоризация, переводение из плана трансцендентного в план имманентного дарует возможность некоторой (всегда неполной, то есть замешанной на мифологии) умопостигаемости произошедшего. Целостное событие (или, если угодно, чистая событийность) предстает для Леви-Строса чем-то не столько невозможным, сколько непостижимым. Однако эта непостижимость скорее не абсолютна, а относительна, поскольку бесконечная регрессия исторических интерпретаций способна в конечном счете обернуться открытием некоего закона развития истории.

«...достаточно того, что история отдалилась от нас во времени или чтобы мы отделились от нее в мышлении, чтобы она перестала быть интериорируемой и утратила свою умопостигаемость – иллюзию, привязанную к временному внутреннему состоянию. Но как бы мы ни заявляли, что человек может или должен выбраться из этого внутреннего состояния, сделать это не в его власти, и мудрость для него состоит в том, чтобы считать себя проживающим его, зная при этом (но в другом регистре), что его столь полная и интенсивная жизнь – это миф, который возникает у людей будущего столетия, а перед ним, возможно, предстанет как таковой несколько лет спустя и вовсе не появится для людей будущего столетия. Любое значение подотчетно наименьшему, дающему ему его более высокое значение; и если эта регрессия завершается в конечном счете

признанием “вероятной закономерности, о которой можно только сказать: это так и не иначе” (Sartre; p. 128) в этой перспективе нет ничего тревожного для мышления, не страшась чего трансцендентного...» [8, с. 315].

Уайт полагает, что даже если поверить, будто хронология все-таки может существовать отдельно от поэтики, то обосновать подобную претензию на собственную автономию она может лишь в рамках конкретного исторического повествования, которое, в свою очередь, неизбежно отягощено «литературностью формы». Именно поэтому, исходя из подобной точки зрения, произведение историка или философа истории может быть оценено точно так же, как и любое другое литературное произведение. В отличие от Леви-Строса, Уайт верит в возможность непосредственного (пренебрегающего всяким вопрошанием о трансцендентности) обращения к тому, что он сам называет «голыми фактами прошлого», однако любая их интерпретация, в соответствии с «метаисторическим» подходом, сводится к познанию самих интерпретативных процедур, которые к ним обращены. Никакая верификация и никакая фальсификация исторических фактов попросту не возможны, ибо эти «факты» находятся вне доступа так называемого «прямого наблюдения». Отсутствие подобного доступа и есть признание того, что сами эти факты являются гипотетическими объектами, требующими, как пишет Уайт, «толкования с помощью процессов воображения, имеющих больше общего с “литературой”, чем с какой-либо наукой» (с.12).

Еще одно принципиальное различие между Леви-Стросом и Уайтом характеризует общий принцип демаркации *французского* и *англосаксонского* *структурализма*. Французский структурализм тяготеет к дедуктивизму: продвигаясь от частного к универсальному, он нацелен на исследование общих явлений культуры. Англосаксонский же структурализм скорее обнаруживает тяготение к индуктивизму, к следованию от декларации общих положений (как правило, заимствованных у французов) к рассмотрению конкретных образцов творчества определенных авторов (эта тенденция проявляется не только у Х. Уайта, но и, скажем, в подходе теоретиков Йельской школы деконструктивизма и т. д).

Леви-Строс видит конечной целью своих изысканий анализ того, что обозначается им в марксистском ключе как анализ «суперструктур», в форме которых реализуются концептуальные схемы, опосредующие отдельные аспекты человеческого поведения.

«Не ставя под сомнение неоспоримый примат инфраструктур, мы полагаем, — пишет он, что между *praxis*'ом и практиками всегда вставляется медиатор, являющейся концептуальной схемой, благодаря действию которой материя и форма, лишенные обе независимого существования, реализуются в качестве структур, иначе говоря, как бытие одновременно эмпирическое и интеллигибельное. Именно в эту теорию суперструктур, лишь едва намеченную Марксом, мы надеемся внести свой вклад...» [8, с.215].

Проект Уайта иного рода — его суть заключается в попытке создать «историческую поэтику», не претендующую на открытие каких бы то ни было структур исторического и, тем более, на рассмотрение форм и степеней структурирования историчности. Уайт без долгих мучений и лишних колебаний просто представляет историю как структуру воображения.

«Мой анализ глубинной структуры исторического воображения в Европе XIX века нацелен на обоснование нового взгляда на современную полемику о природе и функциях исторического знания. Этот анализ ведется на двух уровнях. Во-первых, рассматриваются труды признанных мастеров европейской историографии XIX века и, во-вторых, труды выдающихся философов истории

того же периода. Главная цель состоит в определении родственных характеристик различных представлений об историческом процессе, которые реально проявляются в работах классических рассказчиков. Другая цель – определить различные возможные теории, которыми философы истории в то время обосновывали историческое мышление. Для выполнения этих целей я буду рассматривать как историческую работу как то, чем она наиболее очевидно является – как вербальную структуру в форме повествовательного прозаического дискурса, предназначенную быть моделью, знаком прошлых структур и процессов в интересах объяснения, чем они были посредством их представления ... Короче говоря, мой метод – формалистский. Я не буду пытаться решать, является ли работа данного историка лучшим или более верным изложением специфической совокупности событий или сегмента исторического процесса, чем какого-то другого историка, я скорее попытаюсь установить структурные компоненты этих изложений» (с.23).

Аналитика истории, понятой как структура, сводится к каталогизации пяти компонент, соответствующих разным концептуальным срезам исторического рассказа. Первой выступает «хроника», второй служит собственно «история», в качестве третьей предстает тип построения сюжета (*emplotment*), четвертая компонента обозначается как тип доказательства (*argument*), наконец, пятая являет собой идеологический подтекст (*ideological implication*).

К непосредственному ведению «исторической поэтики» Уайт относит три последние компоненты, вынося уяснение статуса «собственно истории» и «хроники» за пределы проблемного поля своего «формалистского» рассмотрения (то есть фактически избегая темы описания процедур символизации, связанных с теми уровнями исторического повествования, которые он называет «примитивными»). Вместе с тем именно исследование этих «примитивных уровней» могло бы поспособствовать раскрытию того, что, возможно, составляет сейчас самое главное в работе историка и философа истории: сложной взаимосвязи хода истории со становлением способов и средств символической кодификации, отмеряющей сроки, определяющей ритмы и поддерживающей циклы исторического процесса.

Рассмотрим подробнее историографические стили, формируемые историками для того, чтобы наделить свои произведения «объяснительным эффектом», то есть придать повествованию эвристическую ценность. Уайт представляет историографический стиль как комбинацию трех из пяти составляющих любого проекта по концептуализации истории: речь, соответственно, идет, во-первых, о построении сюжета (*emplotment*), во-вторых, о форме аргументации (*argument*), и, в третьих, об идеологическом подтексте (*ideological implication*). Исходя из этого, можно выделить четыре типа сюжета: романтический, трагический, комический и сатирический (данное разделение впервые обозначено предшественником Уайта Н. Фраем); четыре типа доказательства (здесь Уайт воспроизводит классификацию С. Пеппера): формалистский, механицистский, органицистский, контекстуалистский; четыре типа идеологического подтекста (описываемого Уайтом в соответствии с разграничениями, последовательно обоснованными К. Манхеймом): анархический, радикальный, консервативный и либеральный. Важно также отметить, что автор «Метаистории» не делает особых различий между историками и философами истории, рассматривая на равных творчество четырех историков: Ранке, Мишле, Токвиля, Буркхардта и четырех философов истории: Гегеля, Маркса, Ницше и Кроче.

1. Сюжет. Романтический тип сюжета предполагает героическое повествование, заканчивающееся триумфом центрального действующего лица, который восстает против гнета внешних обстоятельств, олицетворяющих зло, порок,

тму и т. д. Такого рода триумф обычно сопровождается еще и победой героя над собственными слабостями: торжеством аскетического само преодоления. Сатирический сюжет выступает антиподом романтического – в нем любые победы героя над собой и над враждебным окружением оборачиваются ничтожными, лишенными всяких оснований упованиями. Драматизм Сатиры отличается от драматизма Романа тем, что в первом случае любые усилия в конечном счете оказывается пустой и бессмысленной затеей, которая попросту не может иметь успеха. Комедия и Трагедия повествуют не столько о глобальных происшествиях, сколько об индивидуальной судьбе. В них внимание приковывается к процессам, происходящим не во «внешнем», а во «внутреннем» мире. Однако события, происходящие во «внутреннем» мире, приобретают глобальное значение в силу того, что основной конфликт разгорается между этим миром и миром «внешним». Комедия живописует нечаянное разрешение такого конфликта в пользу человека, трагедия – полное его поражение перед лицом безжалостной воли обстоятельств. (Исторические повествования Мишле Уайт считает романтическими, Токвиля – трагическими, Буркхардта – сатирическими и т. д.)

2. Доказательство. Формизм, в том виде, как его определяет Уайт, предполагает историческое повествование, сведенное к суммированию частных случаев, возникших прецедентов, биографических подробностей. Основной характеристикой формизма служит тяга к выявлению уникального. (К формистам, в частности, можно отнести Гердера, Карлейля, Мишле). Органицизм, согласно Уайту, сводится к обнаружению преемственности в истории, к пониманию единства различных исторических образований. В отличие от механицистов, органицисты стремятся найти не законы, а принципы или «идеи», управляющие процессами развития. При этом органицисты скорее обращаются к изучению отдельных цивилизационных процессов, а не цивилизации в целом. В этом они тоже противоположны механицистам. (К органицистам Уайт причисляет Гегеля, Моммзена, Трайчке; к механицистам – Бокля, Маркса, Тэна.) Наконец, контекстуализм, согласно воззрениям автора «Метаистории», связан с описанием взаимосвязей, устанавливаемых между социокультурным «окружением» и теми людьми или институтами, которые в нем существуют. (К образцовым контекстуалистам Уайт относит Буркхардта.)

3. Подтекст. Консерваторы в изображении Уайта подозрительно относятся к изменениям в принципе и с еще большим подозрением – к изменениям быстрым и радикальным, которые затрагивают организацию общества. Форма изменений, которая для них приемлема, ассоциируется с медленным ростом и прочным укоренением. Либералы также не являются сторонниками крупномасштабных изменений и полагают, что подлинные трансформации происходят в логике настройки или наладки общественных учреждений (мыслящихся ими по аналогии с механизмами). Радикалы и анархисты, напротив, приветствуют преобразования, причем исходят из того, что последние обязательно должны носить структурный характер. Отличает их друг от друга только то, что для анархистов лейтмотивом изменений является возвращение к некоему утраченному в прошлом состоянию, а для радикалов – созидание утопического будущего. (Расположив на разных полюсах консерваторов и радикалов, Уайт делает образцовым представителем первых Шпенглера, а вторых – Маркса.)

Автор «Метаистории» утверждает, что между определенными типами построения сюжета, типами доказательства и типами идеологического подтекста существует взаимодействие, но не существует строгой взаимосвязи. Стиль того или иного историка или философа истории рождается, как пишет Уайт, не из структурной предопределенности одноуровневого единства различных измерений

концептуализации истории, а из диалектической напряженности между всеми тремя составляющими, рождающей их особую комбинацию в повествовании каждого исследуемого автора. Вместе с тем, нельзя игнорировать существование и того, что Уайт обозначает как «избирательное родство» отдельных видов идеологий, аргументации и сюжетного построения (с.49–52).

Миф и интрига истории: проект «тропологии»

Как сформировалась теоретическая позиция Уайта и каково было ее значение в контексте структуралистской мысли 60–70-х годов? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вновь обратиться к теме мифа как формы организации исторического, точнее, к тому, каким образом структуралисты интерпретировали миф *в качестве особого символического кода, который через обозначение отсылает к необозначенному и необозначаемому, то есть к фактичности событий, чье наличие может быть предъявлено лишь через констатацию неопределенности начала генезиса: «давным-давно», «в незапамятные времена», «когда-то» и т. д.*

В лингвистическом структурализме феномены языка воспринимались как социальные факты, а в антропологическом структурализме уже сами факты конституировались как языковые феномены. При этом фактичностью, то есть *определенным бытием*, стало наделяться именно то, что не просто оказывалось сопряженным с языком, не просто обозначалось в языке, но то, что требовало конституирования неких лингвистических форм для своего выражения. Определенность этой бытийственности, ее дали, края и пустоши располагаются отныне в *социальном*. Социальное достигает объективации, начинает бытийствовать как высшая инстанция бытия только после того, как языковые объекты делаются прообразами тех или иных аспектов социальных отношений (вначале, в структуралистскую эпоху, речь идет только о различных видах так называемого социального обмена). Объективация социального требует особой онтологии, которая предполагает рассмотрение *отношений* как *способа существования социального*. Именно отношения составляют ту подвижную и изменчивую материю, ту форму бытийственности, которая объединяет устройство языка и устройство социума.

Нельзя уже просто сказать, что язык выступает аспектом социальной реальности или что социальная реальность организуется по аналогии с языком. Вопрос должен быть поставлен совершенно иначе: социальное измерение речевой деятельности утверждается в рамках развития этой деятельности в качестве окончательного привилегированного воплощения реального, каким оно дается человеку, в качестве наиболее объективированного аспекта нашего бытия. Такова онтология структурализма – *онтология отношений, связей*, а не субстанций и акциденций, субъектов, вещей или идей.

Структуралистскому пониманию мифа принадлежит особая миссия в такой постановке вопроса. Миф в структурализме – не только история (повествование, рассказ), которая может оторваться от собственной языковой основы. Это также и способ обоснования исторического внутри и посредством языка, более того, способ, открывающий возможность интерпретации истории – как процесса и как действия – в рамках онтологии отношений. Обосновывающий историческое язык далеко не сразу обнаруживает данное свое предназначение, далеко не сразу открывается в подобном качестве. Чтобы совершить такое обращение к истории, язык должен отсоединиться, отслоиться от самого себя, должен отнестись к тому, что составляет его внутреннее достояние, как к чему-то совершенно внешнему.

Социальное имманентно языку, оно выступает его внутренним достоянием, коль скоро язык объективирует социальное, любые социальные феномены. Однако оно

обширнее, нежели сам язык, это внутреннее оказывается ему внешним. Самоовнешнение языка представляет собой ни что иное, как становление социального, открывающее для него вереницу возможностей оторваться от самого себя. Вместе с тем любое такое порывание языка с самим собой оборачивается конституированием его в качестве мифа, в качестве символического кода и кода символического одновременно. Миф всегда является выраженной историей, самым внешним языка. В то же время нет ничего более внешнего, трансцендентного, нежели язык, вступающий в противоречие с самим собой. Нет, потому что именно язык устанавливает эту мерку, мерку внешнего, трансцендентного, создание которой и составляет акт конституирования мифа, акт противостояния языковой системы себе самой. Миф каждый раз выступает структурой самоуказания инобытия. Вне этого самоуказания история оказывается чистой темпоральностью, в его же рамках она обращается в социальную историю.

Возможность структурализма связана с обнаружением того, что трансцендентность имеет мерку, указываемую мифом. Однако структуралистское повествование не исчерпывает ни мифологичность мифа, ни историчность истории. Пытаясь найти общую формулу инобытия (или, если угодно, общую формулу исторического), структурализм претендует на то, чтобы выявить всеобщие структуры мифологизации (а шире, всеобщие структуры символического). Это дерзкое и одновременно дерзновенное предприятие заканчивается мифологизацией Всеобщих Структур, мифологизацией Символического. Попытка найти во Всеобщей Структуре средство универсальной репрезентации форм исторического инобытия (пусть даже изначально признается, что эта универсальная репрезентация будет отсрочена на неопределенный период) оборачивается лишь открытием инобытия самой истории, формой которого и оказывается Символическое, ставшее мифом о Всеобщей Структуре. Структуралистский исторический анализ предполагает применение онтологии отношений лишь к истории структур, которой противопоставляется история, сведенная к чистой темпоральности, то есть, всего того, что структурализм оставляет за порогом своей истории структур. Эта «чистая темпоральность» погребает под собой саму возможность рассмотрения истории субъектов, вещей или идей⁸, что, без сомнения, можно сделать в контексте онтологии отношений, важнейшая заслуга в разработке которой, конечно же, принадлежит структурализму.

Фигура Уайта ассоциируется с особым ответвлением структуралистской мысли – историческим структурализмом (обозначаемым таким образом, исключительно в силу своей предметной спецификации, а не по причине родства с различными версиями так называемого генетического структурализма). Уайт не говорит о нахождении Всеобщих Структур, но сводит задачу историографа к анализу исторического воображения историков, он не говорит и о Символическом – скорее, в зоне его внимания оказывается Дискурс исследователя истории. С онтологии отношений он смещает интерес к исследованию форм ее словесного утверждения. При этом тип отношений, становящихся предметом рассмотрения американского историографа, может быть охарактеризован как перцептивные отношения, отношения организующие образное восприятие. Анализу Символического Уайт предпочитает анализ Воображаемого, замыкая структуралистское исследование в области рассмотрения

⁸ Одним из первых это отметил пронциательный М. Мерло-Понти: «В социологии также существует свой масштаб, и истина общей социологии не в состоянии упразднить истины микросоциологии. Импликации формальной структуры могут привести к возникновению внутренней необходимости. Но не они делают так, что существуют люди, общество, история» [9, с. 91].

вымысла (и различных форм исторического воображения, с ним связанных). Структурная аналитика понимается в данном случае как описание средств исторической риторики или, если пользоваться термином самого Уайта, как историческая «тропология».

«Тропология – это теоретическое объяснение вымышленного дискурса, всех способов, какими различные типы фигур (метафора, метонимия, синекдоха и ирония) создают типы образов и связи между ними, способные служить знаками реальности, которую можно лишь вообразить, а не воспринять непосредственно. Дискурсивные связи между фигурами (людей, событий, процессов) в дискурсе не являются логическими связями или дедуктивными соединениями одного с другим. Они, в общем смысле слова, метафоричны, то есть основаны на поэтических техниках конденсации, замещения, символизации и пересмотра. Вот почему любое исследование конкретного исторического дискурса, которое игнорирует тропологическое измерение, обречено на неудачу в том смысле, что в его рамках невозможно понять, почему данный дискурс “имеет смысл” вопреки фактическим неточностям, которые он может содержать, и логическим противоречиям, которые могут ослабить его доказательства” (с. 10).

Отнесенный к сфере Воображаемого, а не Символического, миф теряет всякое значение для обоснования исторического (кроме как на уровне описания риторических компонент, заключенных в самом способе изложения материала историка). *Мифологическое повествование при этом сводится к изложению побасенки, к сочинительству, одновременно интрига истории перестает ассоциироваться с мифом.* Основная гипотеза Уайта в том, что даже тот историк, который больше всех сторонится любой образности и беспрестанно готов разоблачать иллюзии, не может избавиться от риторики, делающей воображение неотъемлемой частью, – более того, неизбежным условием, – работы, связанной с историческими реконструкциями. Продолжение данной гипотезы – в постановке вопроса, допускающей единство дискурсивных структур и структур, организующих наше образное восприятие: присутствие образности в историческом повествовании неустранимо потому, что организация данного повествования неизбежно связана с риторическими формами, привносящими образность вне зависимости от желания или нежелания автора.

Как полагает Уайт, без моделирования этой образности историк не может даже подступиться к своей работе. Для историка важна не интрига его повествования, а другое: то, что обозначается Уайтом как «префигурация», совершающая на подсознательном уровне и касающаяся именно Воображаемого, а не Символического (которое корреспондирует с Бессознательным в его континентальном понимании). Историк должен представить себе поле собственной деятельности, то есть создать набор различных интерпретационных средств, дающих ему возможность конструировать его собственное видение исторической реальности. Как нельзя не заметить, историческая реальность предстает в данном случае исключительно как конструкт, не сопряженный прояснением конституирующих возможностей языка и единства его устройства с устройством социума. Эта историческая реальность менее всего может рассматриваться как область полевых исследований для онтологии отношений: проблема отношений сводится у Уайта к описанию того, что он называет «языковыми протоколами» (включающими в себя лексический, грамматический, синтаксический и семантический уровни и являющимися достоянием того или иного историка или философа истории).

Данная проблема приобретает *праксеологическое* измерение, когда формирование каждого из перечисленных протоколов описывается как *акт*, заранее совершаемый теми, кто намеревается обратиться к познанию истории. Более того, этот,

как пишет Уайт, «докогнитивный» и «некритический» акт, делает возможным обращение к историческому исследованию. Проблема лишь в том, что с самого начала он называется «поэтическим» и воспринимается как целиком пронизанный некой риторикой, или, в терминах Уайта, «тропологией». Собственно действие в этом акте неотделимо от структурной рекомбинации «тропов», организующих то, что автор «Метаистории» называет» воображением.

Вместо заключения: «Декодированный» Хейден Уайт

В структурализме 60–70-х годов прошлого века выделяются различные способы придания языковым феноменам онтологического статуса. Дистанцию между этими способами можно провести, исходя из отношения к пониманию мифа как особой символической формы, организующей перцептивности, обращенной к истории, к историческому времени. Говоря по-другому, сделать это можно, опираясь на изучение символического порядка, открывающего возможность для нашей исторической чувствительности, снабжающего попутно особым предметом, к которому приковывается ее внимание. Имя этого предмета *историчность*.

Все указанные способы предполагают довольно несхожие версии «мифологизации» истории, но ни одна из них не сводится к такого рода «мифологизации». Напротив, каждая предполагает ответ на вопрос: *что такое исторический процесс?* Этот вопрос постоянно, с некой навязчивой неизбежностью, сопутствует структурализму, как бы возвещая о собственной принадлежности последнего к историческому.

Повествовательная интрига структуралистской мысли не ограничивается интригой структуралистского повествования. Не-становящаяся актуальность и есть то, что составляет эпохальность структурализма. Однако эта эпохальность с развитием структуралистского повествования, с ходом его становления как актуальности не-становления утверждается в своей несамотождественности. Интрига становления структурализма обнаруживает по мере своего разворачивания несовпадение с интригой его собственного повествования. В образовавшийся зазор между становящимся структурализмом и не-становящейся актуальностью *вторгается историческое*, обращенное в качестве неотвратимого вызова к самим структуралистским «структурам», то есть к структурализму как особой модели повествовательности. Структурализм «пережил» свою эпохальность, обратившись в постструктурализм.

Структуралистские «структуры» не обладали прочной соотнесенностью с расширяющимся горизонтом человеческой деятельности и воспринимались как инварианты, открытие которых манило разрешением проблемы нахождения всеобщих принципов социальной организации. Так же как сам миф не может быть сведен к языковым и речевым феноменам, историческое время, организованное как миф, не сводимо в рамках структуралистской схематики истории к практическому становлению-во-времени, то есть, проще говоря, к истории развития форм практической деятельности.

Медиатором между темпоральностью практики и отдельными историческими практиками выступает для структурализма само структуралистское повествование, конструирующее структуру в качестве собственного конституирующего принципа. Вызов, адресованный структуралистскому повествованию, обращен поэтому к конститутивности самих этих структур. Он совершается в форме открытия того, что конститутивность данных структур нуждается в *praxis'e* и поддерживается *praxis'ом*, который непосредственно олицетворяется доминирующими в определенную историческую эпоху практиками (воплощаясь во всем комплексе их взаимосвязей друг с другом без навязчивого посредничества каких бы то ни было концептуальных схем).

Хейден Уайт принадлежит к англосаксонскому ответвлению структурализма. В рамках этого направления тезис о конститутивности структур изначально является проблематичным. Структуралистское повествование в русле англосаксонской традиции скорее конструируется, нежели нечто конституирует. Оно предполагает формирование некой объяснительной модели, но стремится не наделять реальность свойствами данной модели. Говоря по-другому, англосаксонский структурализм может содержать и содержит определенные онтологические импликации, но даже в тайне от самого себя не претендует на обращение к онтологии.

Уайт не является здесь исключением. Его представление о познании исторического процесса связано с прояснением эпистемологических аспектов деятельности историков и философов истории. Он не занят решением проблемы самой возможности исторического времени. Если в его текстах и можно вычленить некие мотивы, сопряженные с онтологическим вопрошанием, то речь всегда будет идти об онтологии структур Воображаемого, а не об онтологии структур Символического. Это, несомненно, рождает очень интересный эффект: реальные действующие лица истории, реальные исторические процессы и исторические события оказываются не доступны для исторического исследования, разворачивающегося у кромки, отделяющей Воображаемое от Реального.

Реальность оказывается пленницей исторического воображения. Однако Уайт демонстрирует, что подобное состояние, – во всяком случае, если речь идет об *исторической* реальности, – представляет собой едва ли не единственный способ ее существования. В этом смысле, следуя логике Уайта, любой человек обречен хотя бы отчасти являться историком. Историческое воображение выступает условием нашего бытия-в-истории, дарующегося каждому из нас лишь при условии, что (вполне в духе Декарта) мы можем предъявить свои эвристические возможности как вексельные поручения, служащие подтверждением нашего онтологического статуса. Отдавая предпочтение исследованию структуры исторического воображения, Уайт, задним числом рассматривает и действие-в-истории, и исторический процесс в целом лишь с *точки зрения* их кодификации или, иначе говоря, с точки зрения наиболее кодифицированных их проявлений.

Литература

1. Апполинарий. 1995. №3. С. 66–73
2. Бурдые П. Практический смысл. М.–СПб.: Алетейя, 2001.
3. Косериу Э. Синхрония, диахрония, история//Новое в лингвистике. Вып. III. М.: ИИЛ, 1963.
4. Леви-Строс К. Структурная антропология М.: Наука, 1985.
5. Рикер П. Время и рассказ. Интрига и исторический рассказ. М.-СПб.: Университетская книга, 1999.
6. Барт Р. Избранные произведения. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994.
7. Подорога В. Навязчивость взгляда. М. Фуко и живопись //Фуко М. Это не трубка. М.: ХЖ, 1999.
8. Леви-Строс К. Неприрученная мысль // Первобытное мышление. М.: Республика, 1995.
9. Мерло-Понти М. От Мосса к Клоду Леви-Стросу // В защиту философии. М.: ИГЛ, 1996.